

ВЛАДИМИР ХАНАН



ИЗБРАННАЯ ПРОЗА

Владимир Ханан
Избранная проза

«Летний сад»

2019

УДК 821
ББК 84 (2 Рос-Рус) 6-4

Ханан В.

Избранная проза / В. Ханан — «Летний сад», 2019

ISBN 978-5-00039-278-2

В книгу избранной прозы известного иерусалимского писателя Владимира Ханана вошли рассказы как из ранее изданных книг, так и написанные за последние годы.

УДК 821
ББК 84 (2 Рос-Рус) 6-4

ISBN 978-5-00039-278-2

© Ханан В., 2019
© Летний сад, 2019

Содержание

Из книги «Аура факта»	5
Памяти али	5
Одинокая гармонь	7
Светит месяц	8
Долго и счастливо	9
Туда и обратно	10
Обухово, на кладбищах твоих	11
Местечечко Бэлц	13
Кадиш	14
«Автопортрет в синей шляпе»	16
Мой дедушка Меир	18
Клуогаранд	20
Параметр беды	21
Семейный портрет с цветком	23
Собачка завтракала зря	26
Тайны ремесла	29
Техника письма	34
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Владимир Ханан

Избранная проза

Из книги «Аура факта»

Памяти али

Дом, где жил Марик, был от оврага вторым. В первом, как и в мариковом, жили две семьи. В той половине, что была обращена к их дому, жила семья Шпагиных. Отца в той семье не было. Были мама и трое детей. Старшая дочка Аля, средний сын Вовка и младшая дочка Галька. Але было тогда лет семнадцать или восемнадцать, она была, как казалось Марику, очень красивой, но видел он её редко, потому что она где-то училась, и на улице, а тем более во дворах с огородами, где Марик часто рубал крапиву, и с той стороны двора, где был пологий спуск к Волге, не появлялась. Но когда Марик заходил к Шпагиным, он иногда видел её, всегда сидящую на стуле или диване с книгой в руках. Наверное, они сказали друг другу какие-то слова, но слов этих в Марике не осталось, а осталось ощущение красоты и ласковости. Вовке было лет тринадцать, был он парень хулиганистый. Так говорили, сам Марик с ним, можно сказать, не общался и о его хулиганистости знал только по слухам. А вот с Галькой, которая была его старше года на три-четыре, очень даже контактировал. Это была девка-хват, которую боялись все пацаны улицы. Однажды к Марику пристал один из братьев Французовых, естественно, по кличке «Француз», и хотел отнять мячик, который Марику привёз отец из командировки. И отнял бы, потому что Марик не умел противостоять откровенной наглости, но тут на улицу вышла Галька и так энергично и уверенно отсобачила «Француза», что тот сразу ретировался и к Марику больше никогда не приставал. В общем, с Галькой у Марика была настоящая дружба. Кроме того: когда Гальке хотелось пописать, она тут же приседала на корточках и писала, иногда даже не прерывая разговора с Мариком. Первое время он стеснялся, но тоже не так чтоб уж очень, а потом перестал. Так у него начинала накапливаться первая какая-никакая половая информация.

Потом Аля заболела, и её увезли лечить в Ярославль. И однажды, – как раз, когда Марик был у Шпагиных, – им принесли телеграмму. В телеграмме было о смерти Али. Как, в каких словах, Марик не видел, но запомнил заключительную фразу, которую вслух прочитала Алина мама: «Последняя просьба – похоронить в Угличе» (так назывался город, в котором жили все герои этого повествования). Это было очень сложное и, наверное, очень дорогое дело – перевезти тело из одного города в другой, поэтому этот вопрос долго решали в семье. Марик слышал, как Вовка сказал:

– Ну, мать, решайся.

А мать со слезами в голосе закричала:

– Что решайся?! Что решайся?!

Похоронили Алю, кажется, в Ярославле. В их родном городке хоронили так: по бульжной мостовой шла телега с открытым гробом, в цветах и венках (очень редко гроб стоял на грузовике с откинутыми бортами), за ней духовой оркестр, а за ним похоронная процессия. Городское кладбище, запущенное и красивое, как все запущенные русские кладбища, было на окраине, вокруг маленькой, жёлтой, единственной работающей церкви. И хотя Алю похоронили, всё-таки, кажется, в Ярославле, Марику, когда он думал о смерти, ещё долгие годы представлялась Аля и угличское кладбище. Представлялись они ему сначала по отдельности,

но как будто бы плывущими друг к другу. И так – сближались, сближались, пока ни соединились в ёмком слове и ощущении: смерть.

Внешне Аля была похожа на артистку Инну Гулая, только красивее и нежнее.

Одинокая гармонь

Отрывочно Марик помнит себя с Ленинграда, с их большой коммунальной квартиры. Но эти воспоминанья словно разрозненные одиночные кадры, да и кадров-то этих немного. А вот связно Марик помнит себя с их первого угличского дома. Первого, потому что был и второй, который построили пленные немцы. Первый дом Марик помнит не весь. Он хорошо помнит фасад, а вот дом сзади и что было за домом – уже нет. А фасад – да. Дом был, как кажется, не из брёвен, как второй – большой, на много комнат, а из легких зелёных досок, стоявших вертикально. Даже комнаты Марик помнит не все. Помнит ту, что была их с сестрой, а комнату родителей и кухню, которые тоже, конечно же, были – не помнит. Но хорошо запомнил качели перед домом. Там стояли на траве, недалеко от входа, столбы с перекладиной – буквой П, и на перекладине висели качели. Они состояли из крашенной, тоже в зелёный цвет, дощечки, по краям которой на прочных веревочках были приделаны палочки ограждения, так что получалось как бы креслице. Этот дом Марика стоял на улице Зины Золотовой, погибшей комсомолки. Он стоял к этой улице торцом, и мимо его, так сказать, фасада шла дорожка. Эта дорожка была проходом от улицы Зины Золотовой к набережной Волги. Набережная эта, получается, была параллельна улице Зины Золотовой, но на самом деле она не была так уж параллельна, да и шла вдоль Волги не всё время, а прерывалась простым, без набережной, берегом. Совсем не всюду можно было так удобно пройти к Волге, поэтому часто по этой дорожке гуляющие шли к набережной.

Марик запомнил, как однажды вечером мимо их дома к Волге проходила группа людей. Посередине шёл гармонист, а по его бокам с обеих сторон шли женщины, по две с каждой стороны. Женщины шли под руку друг с дружкой. Наверное, было не поздно, ибо Марик не спал, но на улице было темно.

В Угличе было мало уличных фонарей и рядом с домом их, кажется, не было. Поэтому всё вокруг освещалось только лунным светом. Женщины и гармонист шли к набережной Волги, гармонист играл «Снова замерло всё до рассвета...», и женщины негромко и приятно пели: «Ты признайся, чего тебе надо, ты скажи, гармонист молодой...»

Сейчас Марик смотрит в их сторону уже очень близорукими, неяркими глазами, но внутренний взор его ясно видит освещенных белым лунным светом женщин, одетых в длинные приталенные жакеты с приподнятыми у рукавов плечами, и между ними в белой лунной рубашке с чёрными ремнями гармони гармониста. «Веет с поля ночная прохлада, с яблонь цвет опадает густой...»

Господи! Как печальна и прекрасна жизнь!

26 мая 1998

Светит месяц

В пионерском лагере, где Марик провёл два последних лета перед переездом в Ленинград, очень любили танцевать. Танцевали много – в основном бальные танцы с весёлыми нерусскими названиями: па-де-катр, па-д-эспань, па-де-патенер (может быть, написано с ошибками). Марик больше всего любил па-де-патенер. Его всегда объявляли так: «Па-де-патенер – мама комсомолка, папа пионер!» В лагере иногда появлялся – приплывал на плоту по Волге – один очень интересный, можно сказать, необычный мальчик по имени Виталька Конопелька. Необычен для Марика он был тем, что был сиротой – раз, мог приплыть в лагерь на плоту – два. Да и фамилия, согласитесь, тоже не совсем обычная – Конопелька.

Через много лет до Марика дошёл слух, что Виталька работает ассистентом у знаменитого циркового борца и силача Григория Новака. А в тот раз Виталька приплыл не один, а с приятелем. Вечером он сказал:

– А сейчас мы с (имя того мальчика не запомнилось)... станцуем вам па-де-патенер, – они взялись за руки, стали танцевать и петь на мотив «Светит месяц».

Вот что они спели:

Светит месяц, светит ясный.
Возле булочной, колбасной
Мальчик с девочкой стоит И
о чём-то говорит:
«Я, – говорит, – тебя, – говорит, —
Люблю, – говорит, – ужасно.
Но, – говорит, – любовь, – говорит, —
Моя, – говорит, – напрасна.
Ты, – говорит, – ходи, – говорит, —
Ко мне, – говорит, – почаще,
И, – говорит, – носи, – говорит, —
Конфет, – говорит, – послаще!»

И всем было весело и смешно.

Сейчас – спустя полвека – весьма постаревший Марик выходит ночью из своей квартиры под звёздное иерусалимское небо, затуманенным взглядом смотрит на непривычно подвешенный лунный серп и поёт:

– Светит месяц, светит ясный возле булочной, колбасной... – и далее по тексту.

А что потом? – А потом в точности по Мандельштаму:

«Всё исчезает. Остаётся
Пространство, звёзды и певец».

19 мая 1998

Долго и счастливо

Арсенал ухаживаний был Мариком полностью исчерпан. По спине портфелем бил? Бил. После школы – регулярно. «Лариска – дура!» на перемене ей кричал? Кричал. С ледяной горки сталкивал? Снежками кидался? И сталкивал и кидался. И что? И ничего. То учительнице пожалуется, то разнюнится. А вот чтобы сказать в ответ: «Сам дурак!», что означало бы недвусмысленное признание в ответной склонности – нет! И все тут.

Вот что бы ты сделал на месте бедного, учащегося в I-ом классе, влюблённого мальчика, читатель? Впал бы в отчаяние? Правильно. И Марик впал в отчаяние. А впад в отчаяние, читатель, что бы ты сделал ещё, а? Возопил небесам? Правильно. И Марик возопил к небесам. А поскольку он был маленьким ещё мальчиком, то, впад в отчаяние от равнодушного стука калитки, закрывшейся за жестокосердной – нет! вовсе бессердечной Лариской, он возопил к небесам естественным для него способом, то есть, взял камень и запулил его в пустые, равнодушные, чуждые его горю небеса! И пустые эти и равнодушные – равнодушно вернули его вопль-камень на землю – туда, за высокий забор, и, судя по крику боли, раздавшемуся за забором, не просто об землю стукнулся немалый этот камень, но об неё, об голову жестокосердной. «А-ах», – откликнулся жалостью в Марике этот крик, – и бежал он, жалеющий и жалкий, прочь, прочь от того забора.

На следующий день коротко стриженная голова телесно мелкой Лариски за первой партой отсутствовала. А на второй день появилась – забинтованная.

– Как ты себя чувствуешь, Лариса? – спросила учительница. – Я думаю, что вы должны подать на Марика, – она сказала не имя, а фамилию, – в суд.

Вечером отец Марика уже всё знал. Будучи командиром производства, семейные вопросы он решал, как производственные: короткий допрос – заушение – приговор. Идти просить прощения. Немедленно (благо не далеко: в двух шагах – напротив). В качестве конвоя – сестра. Вот так, читатель. Не на вороном коне, цокая подковами по лестнице её двухэтажного каменного (в отличие от марикова одноэтажного и деревянного) дома, и не в окружении задумшевых боевых друзей Чапаева и Чкалова – а во вретнице, с сестрой, свидетельницей позора. Конечно, именно для этого – ибо знал отец, что Марик не уклонится, сделает и не соврёт – послана была сестра. «Извини, я больше не бу...» и «Прощаю, прощаю» – даже не дослушавшей его извинений смущённой (не такая уж и жестокосердная, выходит) Лариски Марик помнит так, как будто это было вчера. Но кроме того, что он помнит, он еще и знает сегодня то, чего не знал тогда. А не знал он тогда, униженный и жалкий, что не только чувство вины и унижения нёс он на своих плечах, но еще и то, что один мудрый человек назвал «правом сокрушенного сердца». И что после смущённого Ларискиного прощения мог Марик воспользоваться этим своим правом и сказать:

– Прости меня, Лариса. Я не хотел сделать тебе больно, – просто я был в отчаянии, что ты ушла. Мне так хотелось, чтобы ты осталась со мной. Мне так нужна была твоя любовь.

И тогда, может быть, что-то настоящее почувствовавшая Лариска сказала бы ему:

– Ну и дурак же ты, Марик, – и они бы жили долго и счастливо и не умерли никогда.

5 июля 1998

Туда и обратно

Когда до берега осталось метров пять, мама сказала:

– Ну, всё, можно возвращаться, поворачиваем.

И они, мама с Мариком, повернулись и пошли назад через всю Волгу, к своему берегу, где метрах в двухстах от воды стоял их дом.

Марк не помнит, какой был месяц, но помнит, что было холодно. Не ему, он был тепло одет, но день был холодный. Они шли по толстому, это было видно, льду, внимательно обходя полыньи, – не с подтаявшими, мягкими, как весной, а с жёсткими, словно бы металлическими, краями.

Спустя лет двадцать Марк вспомнил этот эпизод и спросил у мамы, зачем они тогда переходили Волгу, ибо – он помнил это точно – до другого берега так и не дошли.

– Одна старушка посоветовала, – сказала мама. – У тебя был коклюш, – это Марк помнил, – она сказала, что надо перейти туда и обратно через ледяную реку. А коклюш у тебя прошёл.

Совпадением это было, или одно (переход через Волгу) обусловило другое (выздоровление), неизвестно, и смысла гадать нет. Некто однажды объяснил Марку, что лечение коклюша требует специфической атмосферы – воздуха, соприкасающегося то ли с водой, то ли со льдом (но обязательно на реке), так что в их с мамой походе резон был, причём рационально объяснимый. И с этим Марк спорить не стал. Самому ему, однако, кажется, что смысл данного действия был даже не символического, а, скорее, магического свойства. То есть, в данном случае замерзшая Волга символизировала (неточное, даже неправильное слово), если сказать точнее, как бы являлась в контексте этого акта Стиксом или Ахероном – короче, той самой речкой в Царстве Мёртвых, которую человек («человек», разумеется, условно) пересекает только однажды и только в одну сторону. Иначе говоря, смысл тут, по версии (или догадке) Марка, был не во льде, воздухе или, тем более, расстоянии, а только и только в обратной дороге к дому. Именно возвращение домой через волжский этот Ахерон было возвращением к жизни, к полноценности (в нашем случае, к выздоровлению) – без коклюша.

Можно ли это проверить? Проверить, полагал Марк, можно, но в силу ряда причин, а проще сказать, в силу природы вещей, результаты этой проверки обнародованы быть не могут. Поэтому сейчас Марк может только представлять себе, как однажды (о времени принципиально не говорится) он окажется в такой же, так сказать, местности, где, озираясь по сторонам, сможет увидеть – и узнать – уже когда-то виденные им картины. Он может также представить себе, что в какой-то точке пути будет остановлен и спрошен. И вот тогда, – в нервной, что естественно, сутолке, – вздрагивая и вспоминая, он достанет изо рта медную монету и опустит её в протянутую, опять-таки условно говоря, руку, – что и явится последним и окончательным доказательством правильности его догадки.

19 июля 1998

Обухово, на кладбищах твоих

В первое лето после переезда в Ленинград, семья Марика снимала дачу в поселке Славянка, по московской (в смысле направления, «Октябрьской» по названию) железной дороге. Одноэтажные деревянные дома, не асфальтированные дороги – раздолье для босых ног, каждодневные походы на речку Молоканку, которой следовало бы называться не по молоку, а по какао – таков был цвет ее воды, да нет в русском языке подходящего красивого слова. Плюс к тому время долгих каникул между весенней и осенней учебой – вообще самое, может быть, счастливое в жизни. Родители Марика были люди общительные, часто ходили в гости, а ещё чаще принимали у себя. Как правило, собирались они в Славянке такой вот интернациональной компанией: русская пара, татарская – и там и там, помнится, не было детей и – естественно – их, еврейская, с детьми: Мариком и его сестрой. Именно в таком составе поехали они в Обухово, поселок по той же железной дороге, неподалеку от Славянки. Поехали по приглашению русской семьи – на обуховское русское «Преображенское» кладбище – по случаю «родительского дня», то есть, дня, когда русские люди ходят на кладбище помянуть похороненных там родных. На кладбище было оживленно. На могилах были расстелены газеты с провизией, водкой, и сидящие вокруг люди с аппетитом всё это употребляли. Также расположилась и наша кампания. Общество, следует отметить, было спитое. Русская его часть пила, как положено, то есть много. Татарская – как ей не положено, то есть, тоже много. А еврейская – в опровержение известного русского мифа о том, что «евреи не пьют» – пила не меньше собутыльников, а могла – и больше. По какой-то странной русской традиции водки всегда берется меньше, чем надо (может быть, правда, что выпивают всю – сколько ни возьми, а может, есть особый кайф в том, чтобы добавить), и через некоторое время компания всем составом пошла к магазину за добавкой. Рядом с кладбищем был магазинчик, типичное «сельпо», маленький, крапчатый салатного цвета, местами облупившейся, краской, перед которым уже собрались две-три сотни жаждущих. Магазинчик, несмотря на праздник, был закрыт на обед, народ ждал, нервничал, колбасился. И естественным для данных обстоятельств образом приключилась, говоря словами Зоценко, драка. Минут через пять после того, как данная драка приключилась, дрались воя площадь перед магазином. Дрались азартно, по-праздничному весело и буйно, с равным своих и чужих тельников, визгом женщин, но – не жестоко, без привлечения подручных средств, ногами никого, как нынче принято, не добивали. Наши дамы, как и большинство жен, довольно скоро вытащили своих мужей из потасовки, и на поле боя остались только энтузиасты, но и их пыл довольно скоро увял; драка, слегка еще попольхав, выдохлась, стихла, сошла на нет. Скоро опять установилась очередь, а поскольку, как уже было сказано, никого не убили и даже не покалечили, то очередь не только не уменьшилась, но и выросла за счет зевак и естественного – с кладбища – пополнения. Энтузиазм наших взрослых насчет добавить поостыл, да и «детям пора спать», да и «завтра рано на работу» – и компания распалась, добирались домой порознь. Всё-таки гигантское это побоище оставило неприятный след и, обмениваясь репликами насчет того, что «гоим без этого (то есть, праздничного мордобоя) не могут» – в каком-то смысле и направляемые этими репликами, – родители Марика двинулись, отец вёл, в сторону еврейского кладбища, находившегося от русского неподалеку – через железнодорожные пути. Позже об этих соседствующих кладбищах Марик напишет стихотворение (А пока ещё до него далеко. Далеко даже до стихотворения Иосифа Бродского, которое он напишет о еврейском кладбище, вошедшем к тому времени уже в городскую черту). Так Марик в первый раз оказался на еврейском кладбище. Тут можно ещё добавить, что Марик и вообще впервые оказался в месте, которое можно было бы однозначно характеризовать этим словом: еврейское. В школе он чуть ли ни все одиннадцать лет был единственным евреем в классе, ни в синагоге, ни в однородно еврейских компаниях не бывал.

Было уже поздно. На кладбище не было ни души. В ясном темно-синем небе висела яркая луна – невысоко над куполом синагоги (позже Марк узнал, что это не синагога, а дом омовений). Они прошли по центральной аллее – не далеко. Марик обернулся, увидел залитое лунным светом необычное здание, группу памятников и склепов рядом с ним, аллею – запомнил и навсегда вобрал это в себя. Вообще, о евреях Марик знал мало. «Мы, евреев...» – иногда вздыхала бабушка, привычно путая падежи. На этом кладбище у Марика не было похоронено никого из родных. Было тихо. Отец, любящий комментировать, молчал. Как всякий советский мальчик, воспитанный на Хоттабыче с Синдбадом – мореходом, Марик немало знал о мусульманском Востоке – здесь было иное. Иное, никогда до этого не виданное, непонятное, волнующее – и почему-то своё. И это своё оведало Марика особым своим древним воздухом, проникало в него через подошвы его обутых в маленькие сандалии ног. Несколько лет после этого – до смерти деда – Марик там не бывал. Потом хоронил бабушку, потом родственников и знакомых, просто приходил на могилу проведать своих, кладбище узнал ближе и лучше.

Переезд в Израиль заставил Марка задуматься о вещах, воспринимавшихся раньше автоматически, без анализа. Родина. Что такое Родина. Что это за феномен – географический? Физиологический – кровный? Эмоциональный? Что его, Марка, родина? Ереван, где он родился (уже за это любимый), откуда его увезли двухмесячным? Углич, с которого началась его осознающая себя жизнь? Ленинград, с которого он себя помнит, или Царское Село, где были – и юность, и молодость, и первая любовь? «Отечество нам Царское Село...» – а ведь отечество – земля отцов «смуглого отрока» была не здесь, не в Царском... Почему, ступив на землю еврейского кладбища, почувствовал Марк родственность этой земли? Что за токи ощутил он, идущие из земли ленинградского, пригородного тогда ещё, поселка? Наверное, это (кладбище) и есть то, что называется «отеческие могилы», хотя собственно отеческих у Марка там ещё не было? Может быть, дело в том, – подергивая себя за поседевшие и поредевшие волосы, размышлял Марк в сторожевой будке посередине ночного Иерусалима, – что тысячи и тысячи похороненных там соплеменников стали уже землей, то есть – эта земля стала уже еврейской плотью, перстью, прахом, из которого и в который... И поэтому мало думавшей ещё его голове и мало чувствовавшему его сердечку было там покойно? А в мире вокруг – нет. А то, что я впервые это почувствовал, так сказать, стопами, – продолжал умствовать склонный к этому занятию Марк, – в этом даже видна определённая логика: можно даже сказать, что это она – назовем её «логикой шага» – запустила «механизм перехода» – переезда отсюда (спустя огромное количество лет) сюда – на уже бесспорно еврейскую землю.

Ведь как закономерно, – продолжал интеллектуально занудствовать Марк, – что начальная информация идет снизу: информация почвы, Земли, плоти, – «материнское», условно, но точно говоря, – влияние. И только позже, при наличии определенной, скажем так, – «созрелости» – начинает поступать информация духовная, «отцовская», сверху. Это даже наглядно, – окончательно увлекался и прозревал Марк, – знание снизу толкает человека вверх, в рост, увеличивая (до определенного предела, конечно) его тело. А знание сверху – толкает его вниз, уменьшая его плоть, пока не сокращает её до поверхности земли, за её, можно сказать, поверхность. Откуда, став землёю, она начинает питать собой следующих, опять-таки условно говоря, Марков.

В жизни человека, думается мне, нет случайностей. Всё, что с ним происходит, имеет свой смысл. Иногда он виден сразу, иногда он долгое время остаётся в темноте и проясняется вдруг, много лет спустя. И всё-таки не ищите в данном рассказе попытки увязать далеко отстоящие друг от друга факты: репатриацию в Израиль и заурядную русскую драку у магазина рядом с православным кладбищем, в «родительский день» летом 1954-го года. Просто вспомнилось – и всё.

Лето 1998

Местеччко Бэлц

Маргарет, по-видимому, сменила квартиру – и письмо Марка вернулось обратно. На конверте, специальном, для заграницы, помимо отправного – ленинградского, стояло ещё несколько непохожих на привычные штемпелей: Нью-Йорк, Нью-Хейвен – и в прямоугольной рамке по-английски: адресат выбыл.

Марк смотрел на конверт, проделавший путь через океан и обратно, и в голове его сами собой всплыли строчки:

Случайно на ноже карманном
Найдёшь пылинку дальних стран...

Его троюродный брат Изя после женитьбы на девушке из соседней квартиры перебрался к ней и жил теперь рядом. Первые семнадцать лет своей жизни – до войны – он прожил в Одессе, и печать южнорусского происхождения все ещё была в нём заметна. Изя работал ведущим инженером на кораблестроительном заводе – и в интеллигентском его варианте эта печать смотрелась элементом скорее мужественности, чем еврейскости. Отнюдь не пустое наблюдение: в ленинградском интеллигентном еврее знание языка идиш – не предполагалось. Но Изя, как выяснилось, идиш знал. Иногда он напевал – всегда только одну строчку: «Майн городок, майн штеттеле Бэлц...». Только через много-много лет Марк узнал, что есть такое слово «штеттл», означающее на идише привычное слуху Марка «местечко», а ещё он всегда думал, что слово «бэлц» означает прилагательное: городок бэлц, – такой-то городок. Оказалось, однако, – Марк где-то это прочитал, – что Бэлц – имя собственное. Городок, местечко, штеттл Бэлц. Здесь, в Израиле, часто вспоминая Изю (и своего деда и брата Изиного Фиму, – особенно в свои одинокие сторожевые ночи), Марк иногда вспоминал и эту единственную из всей песни знакомую строчку и напевал ее: «Майн городок...». Глядя туда, на Север – о, нет, не в сторону покинутой России, – но в сторону, так сказать, стран полнощных, можно даже сказать, во тьму, Марк начинал понимать, что такое две родины галутного еврея. Что вовсе не меняет такой еврей одну родину на другую, но прибавляет одну к другой. Там, в Ленинграде, где Марк прожил почти всю жизнь, Украина представлялась ему некой цитаделью антисемитизма, откуда приезжали в Ленинград евреи выпускники поступать в ленинградские – «У вас легче поступить, чем в Киеве», – говорили они – институты. Но веяло оттуда, да, конечно, веяло! – и родиной, ибо все четыре дедушки и бабушки Марка были из той стороны. Оказавшись в Израиле и полюбив его всем сердцем, всё же понимал Марк, что там тоже – тоже осталась родина. Только и не Украина и не Россия, а родина с нежным и печальным именем Галут.

Галут, в котором остались – больше или меньше скрытые флёр времени – Ленинград, Углич, отцовская Умань и материнские Москва с Одессой, и где-то там же, между ними, неизвестно на каких, да и неважно, параллелях и меридианах – штеттеле – МЕСТЕЧЕЧКО Бэлц...

Случайно на ноже карманном
Найдёшь пылинку дальних стран...»

Уже более дальнее, чем Америка, более прошлое, чем Россия – штеттеле БЭЛЦ – словно некая фантастическая аббревиатура: Украина, Россия, Родина, Галут.

9 июня 1998

Кадиш

Если, гуляя, они проходили улицу до конца, бабушка озабоченно говорила Марику:

– Надо навестить Нюню.

Они переходили Литейный проспект, большой двор, какие-то арки и оказывались у обшарпанного – типичный «чёрный ход» – подъезда.

Про Нюню бабушка говорила всегда озабоченным тоном, и Нюнина комната эту озабоченность сразу же оправдывала. Помимо весьма специфического, сердцу и носу Марка по сей день сладкого, запаха ленинградской коммунальной квартиры, запах в Нюниной комнате имел дополнительное качество, именовавшееся в те времена, когда обычный ленинградец пользовался в разговоре лексиконом русской классической литературы, честной бедностью. То есть, бедностью осознанной и несуетливой. Не знаю, найдется ли новый Довид Кнут, чтобы описать «русско-еврейский воздух», а, точнее, запах типичной ленинградской коммуналки, если не найдётся, ничего страшного, но пару слов об этом предмете сказать всё же следует, потому что явление это относится к исчезающему, требующим если не биографа, то хотя бы некролога. Редкая ленинградская коммуналка обходилась без еврейского национального меньшинства, что, естественно, сказывалось на вкусе, цвете и запахе квартирному многоголосью. Дело было даже не в каких-то грубо материальных проявлениях иудейского присутствия, вроде запаха куриного бульона или фаршированной рыбы, сколько в ином бытовом укладе еврейского жилища, ином, можно сказать, раскладе материальных (и не только) предпочтений. И если в качестве еврейской компоненты коммунального амбре записной юдофоб заявит запах чеснока и редьки с гусяными шкварками, то еврей (где ж взять юдофила?!) со своей стороны может внести туда же специфический запах книжной пыли и фортепианного лака.

Нюня жила вдвоем с дочкой Марой – полного имени обеих Марк не знал – девушкой лет тридцати, с какого-то времени (это было связано с войной) остановившейся в своём развитии. В их комнате всегда присутствовали какие-то гуттаперчевые кукольные ручки, ножки и личики, которыми Мара играла, работая (или работала, играя) от артели инвалидов. Бабушка, кажется Марку, как-то помогала Нюне, помогали ей и другие их общие знакомые – земляки: все они приехали в Ленинград из Умани. Эта помощь была обусловлена не только сочувствием очевидно нуждавшейся Нюне, но и чем-то иным, чего Марк не знает и о чём лишь смутно догадывается. Это «что-то» является, как ему кажется, вполне обычной, вовсе не выделяющейся своей исключительностью, принадлежностью мира, ушедшего вместе с его бабушкой и дедушкой, вместе с ни одним словом не запомнившейся ему Нюней. Сегодня Марк многое бы дал, чтобы вернуть этот навсегда ушедший мир, заглянуть в него и постараться его понять, потому что уже отец и мать Марка принадлежали к миру другому, ничего не имевшему общего с миром их родителей – миру местечка, идиша, украинского еврейства.

Здесь, в Израиле, Марк остро почувствовал своё сиротство. С вывезенным с доисторической хорошим русским языком, «рыночным ивритом» (как зло, но справедливо, написал один журналист) и набором из двадцати ругательств на идише, он живёт половиной своего существа и пытается, почти вслепую, нащупать какие-то связи и связать какие-то концы. Но когда от этой – новой, но уже своей – земли он поворачивается к той, он видит там только клубящуюся мглу, в которой мелькают фрагменты неявных лиц, невнятных слов, непонятных знамений. Это довольно тоскливое и тревожащее чувство. И хотя Марк испытывает его всегда, когда пытается что-то понять в том, незнакомом ему, мире – в этом чувстве, тем не менее, нет равнодушной окончательности приговора. Сохраняется ощущение того, что всё-таки можно – как-то, каким-то образом – вернуть или хотя бы приблизить к себе этот исчезнувший мир. Иногда Марку кажется, что для этого достаточно – пусть хотя бы ненадолго – вернуться в старую ленинградскую коммунальную квартиру.

И он возвращается в неё, поднимаясь по лестнице вместе со своей бабушкой, озабоченно бормочущей себе под нос «надо навестить Нюню», а в квартире их уже ждёт сама Нюня, сидящая за столом с устало опущенными на колени руками, а рядом с ней ковыряет своё рукоделье вечноюная Мара с широкой, доброй и беззубой улыбкой.

2 августа 1998

«Автопортрет в синей шляпе»

Та литературная среда, в которой вращался и к которой принадлежал Марк, называлась в Ленинграде по разному: «вторая литературная реальность», «нонконформисты» или просто «левые». Сейчас-то стало ясно, что были мы скорее «правыми», чем «левыми», но тогда говорилось так, да и не особо это важно. А поскольку советская власть давила не только независимую литературу (хотя её всё-таки больше других), но и вообще всё независимое и честное, то вышеупомянутая среда состояла также из художников, скульпторов, музыкантов, плюс большая прослойка людей тех же наименований с приставкой «около». Среда была пёстрая, текущая, с небольшой натяжкой можно сказать – жизнерадостная. Как и у всех поэтов, у Марка были друзья художники, и он частенько пивал с ними алкогольные напитки в их мастерских. Кто бывал в мастерских настоящих художников, знает, что эти, так сказать, местности максимально приспособлены для питья водки, любви и благодатной жизни. За много лет Марк привык там пить, опохмеляться, засыпать, просыпаться среди глядящих на него портретов и гипсов, загрунтованных холстов и прочего, необходимого художникам и любимого ими, хлама. Когда-то считалось, что Марк и сам неплохо рисует, он о себе этого мнения не разделял, даже когда учился – весьма недолго – в Художественной школе на Таврической, однако добросовестно оформлял школьные стенгазеты, когда его об этом просили. И ещё, класса этак до пятого, механически на всех уроках рисовал мушкетёров, пользовавшихся огромным успехом среди одноклассников мужского пола. В целом можно сказать, что живопись Марк любил, кое-как в ней разбирался, выставок, разумеется интересных, не пропускал – так что то обстоятельство, что в одной его руке со временем оказалась кисть, а в другой палитра, никак нельзя назвать случайным. Знакомая художница, талантливая и к тому же чертовски красивая женщина, подарила ему на день рождения этюдник с двумя десятками тюбиков краски, дюжиной кистей, пузырьком масла, разбавителем и пару готовых к употреблению холстов. Так Марк «понял масла густоту» (акварель его не привлекала). Лучше всего у него стали получаться портреты – с ними он даже участвовал в нескольких престижных выставках – а сказать точнее, автопортреты. Что, вообще-то говоря, естественно, ибо этот предмет Марк знал лучше иных-прочих.

Первым и, наверное, самым удачным автопортретом был «Автопортрет в синей шляпе», где Марк изобразил себя в мягкой фетровой шляпе с лихо заломленным к тулье полем, припиленным к ней блестящей медной пуговицей. Бородка, усы, кудри до плеч, чуть сверкающая медь пуговицы, пронизательный мужественный взгляд. Картина ныне находится в Нью-Йорке, в частной коллекции, хозяйка которой купила её у Марка за бесценок, 200 долларов, воспользовавшись его затруднительным положением гостя и естественной для россиянина тех времен затурканностью. Единственное, что утешает Марка, – это то, что его картина в богатой рамке, обошедшейся хозяйке дороже картины, о чем нынешняя её владелица не постеснялась сообщить, висит в окружении полотен знаменитого русского художника Анатолия Зверева, купленных, как догадывается Марк, ещё дешевле, уже за полные гроши. Когда картина еще висела у Марка, к нему приехала из Вильнюса подруга с сыном, странным мальчиком, способным на необычные реакции и неожиданные заявления.

– Какая хорошая картина, – сказал он, – дядя Марк, как вы себя точно нарисовали. Здесь видна вся ваша грусть, я бы сказал – МУШКЕТЁРСКАЯ грусть.

В Израиле Марк не рисует. Мало времени, ещё меньше сил, ибо работать приходится значительно больше, чем в России, и он очень устает. Иногда ему снится живопись, во сне это очень неплохо написанные картины, о которых он будто бы вспоминает, находит их, перебирает, а на самом деле они существуют только в его сонном сознании. Сейчас Марк пишет корот-

кие рассказы, – прозу, которую считает еврейской, потому что в ней есть (или ему кажется, что есть) типично еврейская ирония (а также типично еврейская самоирония), галутная сентиментальность и просверкивающая кое-где из подтекста неистребимая «скорбь (вся!) еврейского народа». Если бы Марку предложили написать групповой портрет своих рассказов, в каком-то смысле тоже автопортрет, он нарисовал бы нескольких маленьких и не очень маленьких мальчиков в шапочках (кипочках) и обязательно – увы, вопреки фактам – с пейсиками. Так его рассказы выглядят в его расстроенном репатриацией воображении. То есть, абсолютно не имеют ничего общего с другим его автопортретом, висящем на стене нью-йоркской квартиры в окружении картин знаменитого русского художника: лихо заломленная шляпа, кудри, эспаньолка, МУШКЕТЁРСКАЯ грусть. Как говорили на родине его деда: «Где имение и где наводнение»

27 июня 1998

Мой дедушка Меир

Маме

Второго моего деда – с материнской стороны – звали Меиром. Был он блондином со светлыми глазами, тонкими чертами лица, светлые его волосы вились. Он погиб задолго до моего рождения, в двадцатых годах. Маме моей было тогда семь лет, а её сестре и того меньше – три года. Бабушка Фейта была брюнеткой с карими глазами, дочери – обе – мастью удались посерединке между родителями – шатенками. Старшая посветлей, младшая – потемнее. На двух-трёх фотографиях, что остались от деда Меира, он неизменно в галстук-бабочке, строгом элегантном костюме, красив и породист. В отличие от деда Шаврума, в гражданской войне не участвовавшего (все рассказы о гражданской войне, белых, красных, зелёных и т. д. я слышал только от бабушки Хаи; где был в это время дед – непонятно), дедушка Меир принимал в войне активное участие (естественно, на стороне красных) и имел удостоверение «красного партизана». Дед Шаврум тоже снят на одной фотографии в галстук-бабочке, однако же небрит, чего себе, почему-то думается, дед Меир никогда бы не позволил. И это при том, что дед Шаврум был хоть и мелким, но буржуем, а дед Меир чёрной, что так не вязалось с его внешностью, костью: он был рабочий, пекарь.

Где-то в конце двадцатых годов дед Меир завербовался на работу на Север и вскоре там погиб. Произошло это – по каким-то смутным рассказам каких-то смутных же очевидцев – так: дед был послан с напарником в местную командировку, дело было зимой, по дороге они то ли заблудились, то ли попали в непогоду, короче, никак не могли добраться до места назначения. Напарник деда что-то себе повредил, обессилел, и мой дед Меир, красный партизан, сильный человек, Майор, как звали его соседи по московской коммуналке, долго тащил его на себе, пока в свой черёд не лишился сил. Напарник за это время пришел в себя и уже мог продолжать путь. Деда моего он то ли бросил, то ли пошёл за помощью – в общем, когда моего деда нашли, ему уже было ни до кого и ни до чего. Не знаю, получала ли бабушка Фейта пенсию за мужа, если и получала, то мизерную, в общем, горя она – к отдельной, без мужа, жизни абсолютно не приспособленная, с двумя маленькими дочками, – хлебнула. Но это уже другой разговор.

Фамилия моего деда Шаврума стопроцентно польская, есть даже польский поэт – мой однофамилец. Фамилия деда Меира, напротив, абсолютно немецкая, хотя, какое тут «напротив», – почти что из одних краёв. О родне матери я вообще знаю мало, и продолжает ли кто-нибудь сей немецкофамильный род – информации не имею, а в польскофамильном роду последним являюсь я, недостойный, и на мне он, уже можно сказать наверняка, прекратится. Что ж, так, стало быть, и надо. Или незачем, по мнению благого Провидения, никчёмному моему роду коптить небо и переводить продукты, или, что тоже может быть (не поручусь, что нет), род мой задачу свою на земле выполнил и может отдыхать. По крайней мере, лично я стараюсь отдыхать, но, и отдыхая, всё-таки занимаю себя мыслями о проживших, но, увы, так бесконечно мало знакомых мне поколениях моих предков.

Если принять за данность, что все они когда-то вышли отсюда, из Эрэц Исраэль, где я сейчас мараю бумагу своими смутными якобы воспоминаниями, то дальше ужё тёмный лес: по правой ли – через Грецию, Италию, Испанию, или по левой – через Египет, Магриб и туже Испанию, – стороне добирались они до нового своего, временного, как всегда, жилища. Не как я, их потомок, – маршрутом Хельсинки – Лод на самолете Эль-Аль, – а пешком, на телегах, многодневным, многомесячным, многолетним путем – до тех мест немецких и польских, где прилипли к ним их фамилии, и дальше – туда, где фамилии их соединились, чтобы уже окончательно пропасть. И я, даже напоследок не прославивший их роды потомок, перебираю в своей усталой и переполненной пустяками памяти возможные их маршруты. Стрелки стран-

ствий на мысленной этой карте ползут по странам Европы и Африки, двигаясь то туда, то сюда, подчиняясь невесёлой моей фантазии – и среди всего этого геополитического разнообразия и богатства только один – самый маленький – маршрут может считаться по-настоящему действительным и достоверным. Недлинный этот маршрут ведёт от Москвы на Север, в район полярного города Воркута. И там, не прекращаясь, обозначенный уже самыми мелкими стрелками – штрихами, идёт он через лес проселочной дорогой, плотно заваленной падающим снегом, на котором я ещё вижу нечеткие следы моего деда, – вот уже менее чёткие, ещё менее... и уже нет их, пропали совсем. Так вот и заканчивается этот – единственный на сегодня точно известней мне – маршрут: дорога, лес, мороз... И больше ничего – только дорога, лес, мороз.

25 июля 1998

Клуогаранд

Кунстник Макар, так значилось на почтовом ящике мастерской таллинского художника Володи Макаренко, собирался на море. Когда Марк с Куприяновым зашли, он обговаривал какие-то детали поездки с Мишкой Сафоновым, таллинским тогда еще поэтом, а позже стокгольмским бургером, потому что только русских поэтов Стокгольму и не хватало. Так Марк с Борей оказались в Клуогаранде – приморском кэмпинге, находящемся в каких-то сложных отношениях с эстонской советской литературой.

Там уже всё было готово – и через малое время затеялась симпатичная интеллигентская, можно даже сказать, богемная пьянка – с умными разговорами, чтением стихов и прочими подобного рода радостями. Ещё через какое-то время окосевший Марк /напирая на то, что он не пьёт, а, стало быть, обделен развлечениями, Куприянов съел всю закуску, остальные практически пили, занюхивая / вышел из палатки проветриться – и заблудился. Дюны – сосны, сосны – дюны, тропинок нет, всё пространство, как одна сплошная тропа во все стороны, куда идти – неизвестно. Страха, конечно, никакого, ибо вся-то Эстония, при свете дня выглядящая таким небольшим полуостровом, ночью вообще кажется островком: не уйдешь. В рассуждении всего этого Марк улёгся прямо на песок и заснул. Проспав не долго /не очень-то поспишь на песке, усеянном сосновыми иголками/, он проснулся и двинулся вперёд, твёрдо рассчитывая, что куда-нибудь да выйдет. И оказался прав. Соткавшись из серебристо-сумрачного лунного света, сосновых крон и морского шума, возникла перед ним дриада – прелестная лицом – и взявши Марка за руку, увела его, зачарованного и не протрезвевшего, в свою палатку. И там, оставшись нагой, уже окончательно потрясла поэта совершенством прекрасной своей фигурки, тёплыми блестящими карими глазами и нежной матовостью кожи. Тут же переодевшись в костюм Адама, Марк (форма глагола однозначно требует действия – а вот фиг вам! – напрягайте воображение самостоятельно)... Короче говоря, уже под утро, натянув на голое тело свитерок, только-только прикрывший замечательную её попку, дриада выскользнула из палатки, взмахнула крыльями и через мгновение опустилась у самой кромки прибоя. И там, сорвав с себя свитер и швырнув его, не глядя, за спину, шагнула, как некая Антиафродита, в шипящие пенные волны.

Через несколько часов Марк с Куприяновым уезжали, оставив кунстника Макара добирать про запас виды Балтийского моря, которое он собирался сменить /и вскоре-таки сменил/ на Атлантический океан на том его участке, что омывает Францию.

Сейчас – спустя годы – Марк тоже живет на иных берегах. Но когда видит по телевизору или даже просто слышит слова «Балтика», «Балтийское море», то всегда вспоминает одно и то же: пологий эстонский берег, поросшие высокими соснами жёлтые песчаные дюны и нагую прекрасную дриаду, входящую в пенное море.

21 июля, 1998

Параметр беды

Дом, в котором жили Лившицы – дядя Лёля, тетя Зина и их сын Ильюша – находился в районе плотины, по угличским понятиям, окраина города, далеко. Там стояло несколько новых – больших трёхэтажных домов с квартирными ваннами – невиданная до того в Угличе роскошь, наши, так сказать, новостройки, хотя я не слышал, чтобы это слово звучало в городском обиходе. Кем работал дядя Лёля, я не помню, но отчетливо помню его на футбольном поле в чёрных трусах и в чёрной с белым воротником футболке, со свистком во рту – в качестве судьи. Во время войны, тому назад всего ничего, он побывал в плену, где выжил благодаря тому, что был светлоглазым блондином: не знавшие его не узнали, а знавшие не выдали. Еврей, однако же, всегда еврей, не внешне, так внутренне обязательно, скрыться нам трудно, и, наблюдая однажды за тем, как дядя Лёля колет дрова, лагерный охранник, русский солдат – власовец, сказал ему со смехом:

– Ты, Лёнька (так он там назвался), дрова колешь, как еврей.

Ильюшка был ещё младше меня, лет этак двух, ибо родители его, Лёля и Зина, пожились уже на моей памяти, недавно – сводническими стараниями моих родителей. Была у Ильюшки такая интересная особенность: если он спрашивал у гостя: «Дядя (или тетя), вы любите разбивать посуду?», то это означало – всегда и обязательно – что он что-то разбил или, по крайней мере, собирается это сделать. Я хорошо помню, как он спросил у моей мамы:

– Тётя Лида, вы любите писать в штаны? – и тут же был подхвачен бабушкой и унесён в туалет. Вовремя.

И еще в его арсенале было замечательное выражение: «Я сейчас сделаю (или сделал) дли-и-и-нную беду». Выражение, на наш взгляд, точное, ибо беда от просто крупной неприятности отличается именно длиной, то бишь, временной протяжённостью, а то обстоятельство, что эта протяжённость подразумевается уже одним словом «беда» и, таким образом, в сугубом назывании не нуждается, простим ребёнку, не могущему этих взрослых тонкостей знать. Их дом, повторяю, находился далеко. Через несколько лет после нашего переезда в Ленинград я как-то спросил маму, как же мы добирались до отдалённых районов города (имея в виду как раз район у плотины), если автобусов в Угличе не было.

– Как, как... – сказала мама, – пешком. И я подивился своей детской выносливостью. Спустя четверть века приехав в Углич с подругой, о которой с возможной краткостью будет сказано ниже, я увидел, что на пересечение всего города пешком требуется час, ну, полтора максимум, причём, не торопясь, но в детских моих воспоминаниях выглядит он до сего дня городом, достойным этого звания, а в снах, в которых нередко заносит меня в благословенные его пределы, он и вовсе многопространствен и многолик. И необыкновенно милы – не могу я удержаться, чтобы не сказать, – мне его пространства и лики.

Следует, наверное, добавить, что нашему приезду в указанную местность сопутствовало обстоятельство, в значительной степени лишавшее меня покоя. Заключалось оно в намерении (уже частично осуществлённом: получение вызова, подача документов в ОВИР и т. п.) моей подружки покинуть места произрастания родных осин – в свете чего данная поездка приобретала даже некое символическое значение – и свалить на Запад, как правильно понял проницательный читатель, без меня. Впрочем, врать не буду, соответствующее предложение поступало, но я к тому времени ещё не достаточно набил шишек об упомянутые осины... Ну, да что сейчас об этом!

Целыми днями мы болтались по Угличу, не пропуская ни монастырей, ни пивных пространенного на Руси типа «Голубой Дунай». Естественные в нашей ситуации ссоры по вечерам обязательно заливались немалым количеством алкоголя, выполнявшего пожарные функции то воды, то бензина. Соответственно, первой мыслью по утрам нередко бывала мысль о

пиве. (Нет, не пропущу в своем рассказе время между вечерним вином и утренним пивом: время нежных и страстных примирений. Ты помнишь, малыш, как я напевал тебе на ушко твою любимую «Голубку»: «Когда из ночной Гаваны отплыл я вдаль...»?)

К чести города моего детства хочу отметить, что монастырей в Угличе было всё же больше, чем пивных. Как раз об эту пору в потенциально интуристовских тех местах происходило массовое перепрофилирование складов (бывшие церкви) в музеи (бывшие склады). Делалось это без особых затей, своими силами, от чего, по дилетантскому моему мнению, подкреплённому квалифицированным мнением сопутствующей мне искусствоведки, сим объектам культа/культуры наносился урон, куда серьёзней предшествующего, что позже подтвердил в разговоре со мной профессиональный реставратор.

Скитаясь, таким образом, по пространству моей будущей ностальгии, мы наткнулись однажды на экскурсию, ведомую забавным молодым человеком. Работа с публикой доставляла ему настолько явное удовольствие, что не подпасть под обаяние этой странности было абсолютно не возможно. Мы познакомились и пригласили его к себе. Перед его приходом в магазине напротив я закупил восемь бутылок отличного сухого вина, продукта для Углича тех лет экзотического и, по моим наблюдениям, населением не понятого. Две бутылки мы выпили в номере, а шесть взяли с собой. Эти бутылки были выпиты на значительной для не особо холмистого Углича высоте. Пили мы, сидя и полулежа на самом верху строительных лесов, обнижавших церковь 19-го, предположительно, века, причём, наша группа располагалась у самой высокой маковки, метрах в двух по диагонали от главного, то бишь, верхнего креста, чьи горизонтальные плоскости – снизу этого не видно – были сплошь утыканы заново, как и весь крест, позолоченными штырями.

– Зачем? – проявил я несообразительность.

– Чтобы птицы не садились, – пояснил наш новый друг. Потихоньку убывало вино и садилось солнце. Мой дом, почти не постаревший за четверть века, был совсем рядом, метрах в двухстах. Между домом и церковью лежал овраг, по дну которого все так же струился ручеек, впадавший в неширокую в наших местах Волгу. По другую сторону, ещё ближе, стояла школа, где училась моя сестричка. Помню, что директор этой школы, которого все звали просто Глеб, зимой и летом ходил в старой солдатской шинели, вместо кисти правой руки у него был протез...

Ах, зачем не умеет слабое моё перо описать косые лучи вечернего солнца, обливающего теплым закатным светом обновленную церковную маковку, птичий гомон в ясном, украшенном кучевыми облаками, майском небе и жадно вбираемые мной, далеко видные с высоты, навсегда, до смерти родные пейзажи. Как сейчас, вижу я живописную нашу группу: местный друг мирно спит, прислонившись головой к доскам ограждения, моя подруга, обращённая лицом к закатному солнцу, по ревнивому моему подозрению, обдумывает свой будущий – в ту самую сторону – маршрут, и рядом с ней я – со стаканом в руке и гремучей смесью любви и отчаяния в сердце.

Через несколько месяцев женщина, чья безмолвная тень постоянно присутствовала на этих страницах, устроила мне длинную – на несколько тысяч километров – беду, которую надлежало безоговорочно пережить, что я и сделал без серьезных, как мне кажется, потерь и даже с некоторыми, неважными для читателя, приобретениями... только иногда, услышав старую, когда-то модную мелодию, повторяя про себя: «Ля палома, адьё! Когда придет смерть, у неё будет не твое лицо».

7 мая 1999

Семейный портрет с цветком

Среди моего живописного наследия есть картина (оргалит, масло, 130 x 150) под названием «Семейный портрет». На картине изображена семья, четыре человека, на фоне цветущего летнего парка. Предположительно, это Софиевка, уманский парк, созданный мастерами садового искусства по заказу известного магната Потоцкого для любовницы, даже, сказать точнее, возлюбленной – простой, так гласит предание, крепостной девушки Софии.

Парк этот, в самом деле, необыкновенной красоты, я видел своими глазами, когда однажды был в Умани, на родине своего отца.

В картине это фон: зелёная масса деревьев, смутно различимая, почти угадываемая беседка – ротонда, за спиной семьи то ли куртина, то ли вазон – с цветами. Семья – на и около скамейки: мать и старший сын-подросток стоят по обе её стороны. Отец и младший, обнимаемый отцом за плечи, сидят. Эта картина, в адрес которой автор слышал много похвал от квалифицированных, хочется ему думать, критиков и ценителей, экспонировалась на престижной (в нонконформистских кругах) выставке «10 лет ТЭИИ» (Товарищества Экспериментального Изобразительного Искусства) – объединения ленинградских художников-неформалов, давшего впоследствии городу и миру несколько знаменитых имен.

Выставка была действительно серьёзной: далеко не все из членов ТЭИИ сумели пройти суровую отборочную комиссию, так что я оказался среди немногих избранных, к слову сказать, даже не состоя в рядах Товарищества. Могу прибавить, что этим обстоятельством был немножко горд.

Не помню, почему я не был на вернисаже. На следующий день позвонил знакомый и сказал, что был на выставке (в те золотые времена это было событием городского масштаба) и что, по его мнению, моя картина «Семейный портрет с цветком», несомненно, одно из её украшений. Семейный портрет – с цветком? Я почувствовал себя, как будто получил оплеуху. Почему с цветком? Где они – оформлением экспозиции занимался выставком – нашли цветок? Ни у одного из персонажей картины в руках цветка нет. Да, верно, за их спинами есть, я уже говорил, не то клумба не то ваза, но с цветами, с цве-та-ми, не с цветком. Что за идиотизм! Конечно, это была мелочь, на которую никто и не обратил внимания, но меня это задело сильно, потому что в этом и вправду мелком факте я увидел очередное проявление преследующей меня неvezухи: еще ни одна, повторяю, ни одна из моих редких поэтических публикаций не обходилась без чудовищных опечаток. Как правило, пропускалась важная для смысла стихотворения строка, иногда строки внутри стиха менялись местами, и даже был случай – в одной солидной зарубежной антологии – когда конец одного стихотворения был пришит к началу другого, так что в результате оба стихотворения превратились в нечто абсолютно загадочное... Самое печальное, что это продолжается до сих пор.

На самом деле ошибка объяснялась просто. Отборочной комиссии я представил несколько работ. Среди них была, как принято говорить среди художников, «обнаженка» – «Женский портрет с цветком». Картина была, простите за нескромность, хороша, что косвенно подтверждается тем обстоятельством, что часть её названия (а стало быть, и содержания) застряла в подсознании уважаемых судей. Не взяли её исключительно из-за стопроцентной «непроходимости» через комиссию ЛОСХа (Ленинградское отделение Союза Художников), которому в те времена принадлежало решающее слово. Это был холст приблизительно 90 см. на метр, в каковое пространство была изящно и точно вписана женская фигура.

«Перед вами, – говорит будущий гид будущего музея, – прелестная фигура обнажённой женщины. Женщина полулежит, опираясь на ложе локтем правой руки. Вторая её рука нам не видна, только плечо, по-видимому, там, с другой стороны, она вытянута вдоль тела. Правая нога женщины также вытянута, мы видим её не всю. Левая согнута в колене, колено под-

нято и находится примерно на уровне головы. Голова женщины не запрокинута, как можно было бы ожидать, она склонилась на грудь, густые распущенные волосы скрывают половину лица. Правая грудь женщины – большая, крупная, мы как бы даже ощущаем её тяжесть – естественно отвисает книзу, вторая – лежит на левом боку женщины, как некая мощная и вместе с тем нежная возвышенность с обращенным к верхней части холста соском. Ноги – вытянутая и согнутая – расположены так, что нам видна верхняя часть опущенного треугольника. Остальное домысливается зрителем. (Зритель домысливает)». Да, чуть не забыл: рука, которая видна целиком, держит цветок.

Вернёмся, однако, к семейному портрету. Итак, семья. Для правильного понимания картины, или, точнее, правильного понимания замысла автора, следует уточнить: еврейская семья. По отцу и младшему сыну этого не видно: лысый папа может быть человеком любой национальности южного региона: евреем, молдаванином, украинцем. В малыше вообще видна только раса. А вот мама и старший сын, что называется, типичные представители, или, говоря сокращенно, что да, то да. Мама – это, конечно, еврейская «тётка», от которой за версту разит местечком. Низкорослая, толсторукая, с могучими грудью и торсом, опирающимся на толстые же, короткие и крепкие ноги. Главное впечатление от лица: сила и упорство – качества, которые в сочетании дают житейскую (своеобразную, скажем всё же) мудрость, с успехом заменяющую интеллект. Одетя ярко, безвкусно, но, скорее всего, не дешево. В руках, явно более привычным к тяжелым «авоськам» с продуктами – маленькая дамская сумочка. Идея, мысль, сегодняшняя реальность – в ней, жене, матери, несомненной главе семейства. Муж – в светлом, добротном сшитом костюме (наличие неплохого вкуса то ли у него, то ли у местечкового портного – были портные в еврейских местечках!), несмотря на позу: одна нога независимо закинута на другую и галстук-бабочку – конечно же, статист, подкаблучник, существо во всех отношениях подчиненное. Старший мальчик, стоящий относительно матери по другую сторону скамьи, образующий вместе с ней как бы – рискнём мы состричь – смысловую конвойную группу, является, так же, как и мать, лицом для картины значительным. Ему лет 12–14, это типичный «жиртрест» с явно наметившейся грудью и животом, слишком хорошо знакомым с домашними пирожками. Не теряя времени даром, держит в руке фрукт. На лице легко расшифровываемый статус в своём, так сказать, карасе: насмешки мальчишек, презрительное невнимание девочек, откуда нелюбовь к подвижным играм, комплексы, время в мечтаниях и за книгой – и легко просчитываемое будущее: затянувшаяся инфантильность, неискоренимое дилетантство во всех профессиональных проявлениях. В исключительных (хотя и не редких) случаях из таких получаются Вейнингеры, Блюмкины, Кокто... Младший несет нагрузку чисто символическую: это даже не столько будущее семьи, сколько персонализация факта, что у семьи будущее есть. Добавлю ещё, что по картине легко читается – и это её несомненное достоинство, правда, скорее литературное, чем живописное – социальное положение нашего коллективного героя. Это средний класс местечка, семья, сумевшая тяжкими многолетними усилиями (главным образом, матери) приумножить небольшой (уверен, что небольшой) наследственный капитал, создавший основу прочного (зная будущее, не будем преувеличивать его прочность) материального благополучия. Картина тому свидетельство: местечковая – ну, конечно же, они ещё живут в своем местечке – семья, выехавшая на ставший ей доступным отдых в культурный, типа Умани, центр. (Специально для этого случая приобретены не нужные в хозяйстве сумочка, «бабочка» и матросский костюмчик малыша).

В отличие от обнаженной женщины, которую я как-то враз усмотрел на пустом ещё холсте, семейный портрет был мной списан, можно сказать, с натуры – со старой пожелтевшей фотографии, невесть когда появившейся в нашем фотоархиве. По версии моей мамы, не вызывающей, правда, особого доверия, ибо моя мать всегда плохо ориентировалась в мужниной родне, на фото изображены наши дальние родственники, давным-давно, чуть ли не в конце десятых, свалившие в Америку. Версия, однако, кажется мне правдоподобной (других, соб-

ственно, и нет). Правдоподобной по той причине, что к моменту, остановленному аппаратом провинциального фотографа, даже менее решительные и мудрые, чем изображенная на фото тетка с сумочкой, евреи сумели понять, откуда дует ветер и чем весь этот балаган, скорее всего, закончится. Не особо напрягая фантазию, я прямо-таки вижу, как, невзирая на робкие возражения подкаблучника и занудное нытьё «жиртреста», эта мужественная женщина перетаскивает свою семью на другой конец света, в Америку, чем, к слову сказать, радикальным образом меняет её будущее, проще говоря, её жизнь. И смерть.

Фотография, о которой идет речь, сейчас здесь, со мной, в Израиле. В хорошие минуты я смотрю на неё, и люди, изображённые на ней, становятся мне всё более родными. Картина, где они же стоят и сидят на фоне уманского, предположительно, парка Софиевка, висит в доме моих родственников в Санкт-Петербурге и сквозь окна смотрит на Неву. Судя по возрасту фотографии и её персонажей, разве что у самого младшего из них есть шанс, да и то небольшой, обрестись на этом свете, остальные, можно сказать, гарантированно, стали американской землей и если где-нибудь и куда-нибудь смотрят, то нам с вами этих «где» и «куда» знать не дано.

«Семейный портрет» прямо на выставке почти уже было купили западные немцы (тогда ещё существовали и ФРГ и ГДР), да я как-то так замотал переговоры, что дело кончилось ничем. «Женщину с цветком», можно сказать, купили, даже увезли, вот денег, правда, до сих пор не заплатили. На всём этом можно было бы уже поставить точку, если бы не проклятый цветок, припиленный к названию, скорее всего, по простому недоразумению, который, назло всем, сколько ни есть, очевидностям выпирает из памяти, пытаюсь – и безрезультатно – выдать себя за символ – чего? – чего-то очень важного, чему я никак не могу подобрать названия.

Проанализируем ситуацию и выясним для начала, что мы имеем. А имеем мы гипотетическую (увы, но так) Умань, уже начавший скрываться за туманной дымкой Санкт-Петербург, не менее гипотетическую, чем Умань, Америку (по-видимому, Ну-Йорк – так выговаривала моя бабушка) и единственно по настоящему реальный Иерусалим. То есть, мы имеем как бы некое поле, образуемое натяжением между указанными пунктами. И я таки понял, чем был и что символизировал сей, не известный ботанической науке, но, тем не менее, реально существующий цветок.

«На картине “Семейный портрет с цветком”, – говорит будущий гид будущего музея, – изображена еврейская семья, фотографирующаяся на прощанье перед отъездом из своей родной Украины в далекую Америку. Парк, на фоне которого изображена семья – уманская Софиевка, построенная князем Потоцким для своей любовницы. Не ищите на картине цветок – это до вас уже безуспешно пытались сделать десятки искусствоведов. Цветок, отсутствующий в визуальном плане картины – это роза ветров, картографический значок, изображавшийся некогда на географических картах. “Я считаю, что это самый еврейский цветок на свете”, – пошутил автор картины в одном из своих последних интервью».

Остальное домысливает читатель.

25 мая 1999

Собачка завтракала зря

31-го декабря 1980-го года я сидел в котельной на Адмиралтейской, 4. Моя коллега, за которую я в тот день работал, обещала, что в десять вечера меня сменят. Дома ждала компания – этот Новый год отмечали у меня. Примерно в 9.30 позвонила женщина, наша общая знакомая с моими друзьями – художником Юрой Васильевым и его женой Тамарой Валенте – и сообщила, что Юра Васильев только что умер в больнице на улице Костюшко. Тамара находится там в бессознательном состоянии – у нее была какая-то странная мозговая инфекция. Поскольку я жил на этой же улице, мне следовало забрать Тамару и доставить домой. Тоже, кстати, неподалеку. В 10 часов меня сменил молодой человек, интеллигентный и томный. Тамару я забрал из приемного покоя чуть живую и ничего не понимающую, привёз домой и половину праздничной ночи просидел у её постели. Приехав домой, где ещё праздновали, в темпе напился и ушел спать, ибо утром следовало быть у Тамары, собирать деньги, оформлять документы, словом, заниматься похоронами. Всё это мы сделали вдвоем с ленинградским художником Валерием Вальраном – дай Бог ему благополучия!

Юре Васильеву было слегка за тридцать, его – ещё недавно здоровяка и красавца – затравила Советская власть с помощью первой жены. Случай, можно сказать, типичный: Советская власть крайне редко уничтожала людей без посторонней помощи, обычно ей требовались помощники – доносчики, палачи и т. и. – и, слава советскому народу, такие люди всегда находились, даже с избытком. Художником Юра Васильев был, как говорили, от Бога. Несколько его картин есть у ленинградских коллекционеров, одна у меня, одна у Вальрана, какие-то – не много – на Западе, несколько у мамы Юры, теперь уже за границей, в Молдавии. Те, что оставались у Тамары, украдены, но, надеюсь, всё же присутствуют на лице Земли. Соберутся ли они когда-нибудь где-нибудь вместе, Бог весть. Надеюсь, что о Юре Васильеве ещё напишет кто-нибудь, лучше меня разбирающийся в живописи и лучше меня знающий его как художника.

С молодым человеком, которые сменил меня на работе в предпраздничную ночь, я встретился через несколько лет в одной компании. К этому времени я уже прочитал не одну статью в ленинградском самиздатовском журнале «Часы» и не один перевод в журнале (название не помню), специализирующемся на переводах, подписанные именем Сергей Хренов или Khrenov – так, оказывается, звали моего шапочного знакомого. Переводы были высокопрофессиональны, статьи (главным образом, о рок-музыке) умны, интеллигентны и язвительны. С тех пор наши пути иногда пересекались. Я был, полагаю, на немало лет старше, от богемной жизни успел устать, в отличие от Серёжи, который с удовольствием (а, может, и нет) ей предавался. По видимости, дело обстояло именно так, но наши несовпадения были существенней. Хренов принадлежал к следующему поколению литературы и андерграунда. Уже о литературе здесь приходится говорить более или менее условно. Это были представители культуры вообще иного типа, в которой слово безоговорочно отказывалось от первенствующей роли, уступив её иным знаковым системам. Когда-то мое поколение литераторов с удивлением увидело, что те, кто должен был считаться нашими наследниками и продолжателями, отнюдь не собираются числиться в наших сыновьях и, более того, свою родословную выводят, оглябая нас, из каких-то иных, большей частью иноземных, корней и источников необычайно широкого диапазона. Среди избранных ими мам, пап, дедушек и двоюродных учителей числились хиппи, панки, Битлы и Ролл инти, щедро разбавленные даосизмом, дзенем и тому подобными экзотичностями. В описываемое мной время понятие «тусовка» уже вступало в свои права, и можно сказать, что мы с Хреновым принадлежали к разным тусовкам (подсказал бы мне кто-нибудь, к какой принадлежал я). Видимо, поэтому мы с ним редко совпадали по фазе: к тому времени, когда я с самыми серьезными намерениями подступал к алкоголю, Серёжа как раз от него отпадал, иногда в прямом смысле слова. Из всего вышесказанного становится понятным,

почему наши взаимные, как мне казалось, симпатии так редко выходили на уровень серьезных разговоров. Цой, Башлачёв или Гребенщиков, бывшие весьма заметными ориентирами в мире его ценностей, никогда не представляли для меня ни малейшего интереса.

Пил Сережа профессионально, то есть постоянно и помногу. И дело в данном случае было, конечно, не в косном, тупом режиме, который и впрямь не оставлял (или почти не оставлял) талантливому и порядочному человеку иных вариантов существования. Андерграунд был для людей круга Хренова абсолютно не тем, чем он был для поэтов моего поколения, вытесненных в подполье железной логикой российской культурной, если можно так о ней выразиться, жизни. Мы не были рождены для подполья. Описываемый мной культурный круг, не то чтобы был создан для андерграунда – только в ситуации подполья он и мог народиться. Это подтверждается, в частности, тем фактом, что с приходом социальной свободы их андерграунд практически приказал долго жить, тогда как для литераторов моего поколения ничего принципиально не изменилось. Я хочу сказать, что и водку мы пили по-разному. Мы пили, отдыхая, или выплескивая таким путём накопившийся негатив, более или менее отдавая себе отчёт в таящихся, даже может быть, несколько провоцирующих опасностях; они пили, как дышали, и провоцирующая роль алкоголя, а также «травки» и прочего была не только учитываема, но и, подозреваю, желанна. Это был способ жизни, который естественнейшим образом диктовал, хотя и не всегда внятными бормотанием, способ смерти.

К тому времени, когда мы стали иногда видеться, Сережа уже развелся со своей первой женой, моей бывшей коллегой, оставив ей сына, унаследовавшего, по слухам, некоторые папины таланты. Большею частью мы встречались в доме Эллы Липпы, женщины исключительного ума, живой летописи ленинградского андерграунда. Иногда Сережа что-нибудь рассказывал, и слушать его было интересно, иногда – и это бывало не реже – он с пьяной, однако сохранявшей интеллигентность, улыбкой весь вечер повторял какую-нибудь фразу из области как нормативной, так и ненормативной лексики. Несмотря на это, ощущения деградации, или хотя бы опасного развития ситуации, не было. Когда за несколько месяцев до моего отъезда в Израиль мне сказали, что Сережа Хренов покончил с собой, я вспомнил о своих тогдашних ощущениях, напрочь лишенных беспокойства. Быть может, у меня плохо с интуицией, чего не скажешь о Серёже – ибо именно она, помимо всего, остающегося за кадром, в силу своей своеобразно-художественной развитости и подтолкнула – я думаю – Хренова на этот акт, идеально вписывающий его в систему жизни и смерти, которую он, излишне красиво говоря, исповедовал. В ней, достаточно иррациональной для того, чтобы регулярная житейская логика не могла нашептывать свои варианты, рациональное действие имело значительно меньше прав на убедительность, чем заразительное, заразное действие личного примера.

Земля, так вдохновлявшая, например, Мандельштама, Хренову, я думаю, была просто неинтересна. Те художественные системы, которыми он жил, располагались значительно выше, и их, так сказать, актуализации не перелистывались аккуратной рукой, но перемешивались с облаками и ветром. Причём нетвердой руке, участвующей в этом полуанархическом действе, следовало находиться в состоянии похмельной или послеукольной дрожи. Как бы там ни было, для самоотвода, самоувода себя из, быть может, лишь на прихотливый миг не совпавшей с ним действительности, Серёжа Хренов выбрал именно эту стихию, ввинтившись в неё способом идейно близкого ему Башлачёва.

По серьёзному счёту я знал его мало. Ещё меньше знал его творчество, и никогда не состоял в друзьях. Я решил написать о нём, потому что здесь, в Иерусалиме, почему-то вдруг вспомнил о его, мало открытой мне, жизни и мерцающей – сквозь пелену интеллигентской рефлексии – смерти. Мне захотелось в почти нематериальной среде русскоязычной израильской литературы, столь сходной о той сферой, которой он безоглядно доверил свое тело, поставить ему этот более чем скромный памятник.

Что ещё я могу сказать о Серёже Хренове? Ничего. Из всех выражений (цензурных) больше всего он любил то, которым я озаглавил этот рассказ. Какой смысл он в него вкладывал – Бог знает.

30 августа 1998

Тайны ремесла (три рассказа)

Кажется, у Довлатова это где-то промелькнуло, где, не помню, да и не важно. Эту историю я услышал в первый раз довольно уже давно от нашей общей приятельницы Тани Юдиной, не раз упоминавшейся в довлатовских записных книжках. Они переписывались, Танька читала мне наиболее интересные письма, – так, о знаменитой эпистоле Довлатову от Воннегута я узнал из письма – намного раньше его русскоязычных читателей.

А сам анекдот – в первоначальном значении этого слова – таков. Некий молодой человек, решивший стать писателем и усиленно постигавший тайны писательского ремесла, объявил, что одну тайну, из самых, подчёркивалось, главных, он уже постиг. Самое трудное в рассказе, говорил он, это концовка. Так вот, он нашел универсальную формулу этой самой концовки, подходящую практически для любого рассказа. Плюс абсолютная простота и стопроцентный успех. Примеры? – Извольте. Война, молодого солдата отправляют в разведку. Трудное задание, риск, реальная возможность гибели. Концовка: «Капитан долго смотрел ему вслед...». Ещё. Из другой оперы: Конец 50-х. Молодой парень рвётся на целину. Белоручка, неврастеник. Начитанный, но слабый. Но рвётся. Там – трудности, лишения, кочевой быт. Концовка: «Секретарь райкома долго смотрел ему вслед...». Ещё. Больница. Молодой человек после тяжелой травмы. Врачи однозначно: не будет ходить. Медсестра – самоотверженная, молодая, красивая. Влюбленность, роман, роковая страсть (он уже ходит). Наконец, выписывается – уезжает. Концовка: «Медсестра долго смотрела ему вслед...».

Последний пример меня добил, то есть убедил окончательно. Пявота молодого писателя была мне очевидна. Я и до этого интуитивно чувствовал, что есть, есть какие-то формулы, которыми втихомолку пользуются «инженеры человеческих душ». Что помимо таланта и вдохновения держат они в своих тайных кладовых и иные, так сказать, кирпичики, из которых складывают свои «нетленки» и «эпохалки». Следовало только провести проверку практикой – и я взял вышеприведенную формулу, не страшась обвинений в плагиате, ибо – об этом говорит вся история литературы – приём, найденный одним автором, становится законным достоянием всех. Вариант с медсестрой показался мне самым многообещающим и, в силу заявленной профессии, наиболее универсальным. О результатах судить читателю.

Рассказ первый: «Сердце разведчика Прохоренко»

– Товарищ генерал! Полковник Прохоренко явился по вашему приказу! Что случилось, Алексей Петрович?

Несколько секунд генерал, не мигая, пристально смотрел на вошедшего и, не принимая неофициального тона, сказал:

– Садитесь, полковник. Садитесь и расскажите, причём прежде хорошенько подумайте... Только не выдумывайте, не выдумывайте! – раздраженно повторил генерал. – Короче, рассказывайте о ваших, так сказать, делах.

– О каких именно, товарищ генерал? – сказал Прохоренко,

– Я же вчера направил вам подробный рапорт по всем подлодкам класса ГП-137А, его – что – не передали? Могу доложить устно. Все это барахло у нас берут с дорогой душой, причём по цене выше, чем мы рассчитывали. Похоже, их ходят толкнуть куда-то в Африку, тамошним обезьянам, как действующие. У нас по документам они проходят, как простой металлолом, да ещё в разборе... То есть, пять уйдут, как три. Деньги через оффшорную, как вы приказывали...

– Передали, передали, – криво усмехнувшись, сказал генерал. Через третьи руки! Ты, что, не понимаешь, что об этом письменно... Ладно, проехали. Расскажите нам лучше, полковник, – голос генерала снова стал официальным, – о своих других делах: как давно и по какой цене вы продаете иностранцам оборонные секреты нашей Родины?

– Какие секреты? О чём вы, товарищ генерал? Кому я?..

– полковник приподнялся и снова сел, почти упал, на стул.

– Я вас не понимаю...

– Не понимаешь? Он не понимает! – зло сказал генерал.

– А это что? В его руках оказалась какая-то, странного вида, газета. – А твое странное интервью этой... как ее?.. – Он наклонился к селектору: – Игорь, принеси перевод из японской «Кимоноку Расава», – через десять секунд генерал держал в руках несколько страниц машинописи.

– Вот. Здесь: «Наша страна не держит оружия массового поражения на Сахалинской гряде...» А вот еще: «Склад бактериологического оружия в Волочаевске-17 ликвидирован ещё в прошлом году в соответствии с договором от...», – генерал швырнул листки на стол. – Ты что, тридцать лет в разведке, зубы на этом съел, голова – вон – вся седая, не знаешь, что это и есть наши главные секреты – о том, чего у нас нет? Ты знаешь, что с нами Москва – он кивнул в сторону неснятого портрета Андропова – сделает?! В общем так, Матвей Данилович, – голос генерала был почти спокоен, – это дело нам с рук не сойдет. Это не подлодки... Значит, вариант у нас один. Ты сегодня же пишешь рапорт на увольнение в запас по состоянию здоровья и уходишь – пока в отпуск. Рапорт я придержу – мало ли что... Может, и обойдётся... А не обойдётся – в отставку, с полным пансионом. Будешь рыбку ловить... Где твои старики? – В Ростове? Посидишь с удочкой у теплого моря, не то, что наше... Да не нервничай так! – рожа красная, как после поллитры. Давление? Это при нашей работе профессиональное... Я предусмотрел. Счас тебе укольчик, в приёмной сдашь рапорт капитану – и домой, в постельку... Кустарникова здесь? – спросил он в селектор. – Пусть зайдёт.

– Лора Андреевна, – сказал генерал вошедшей в кабинет сорокалетней женщине в белом халате, туго облегающем ее аппетитное тело, – сделайте-ка нашему отпускнику успокоительный укольчик, а то он у нас за последнее время что-то сильно разволновался. Вы медсестра опытная, не мне вас учить. Генерал исподлобья заглянул в красивые, блестящие, слегка расширенные зрачки Лоры Андреевны, и, вздрогнув, отвёл глаза.

– Отпускнику, – ласково говорила Лора Андреевна, между тем руки её быстро готовили всё для укола. Сделаем, как отпускнику, – проговорила она, уже вводя иглу в вену полковника Прохоренко. Вот и всё. Вот и хорошо.

– Ну, ты всё понял. Будь. Если что, звони, – уже скороговоркой говорил генерал в спину выходящим.

«Жалко, конечно. Но как разведчик он всё равно пропал, – глядя на закрывшуюся дверь, думал генерал. – Даже не вспомнил, с чего начинается наша служба. А начинается она со слов “Из разведки не уходят – из неё выносят вперёд ногами”. Всё. Проехали».

Сдав рапорт дежурному адъютанту, полковник Прохоренко шёл длинным коридором Управления и думал: «Обойдётся – не обойдётся, а отдохнуть и впрямь пора. Вон как сердце разболелось».

А тем временем вышедшая из тех же дверей медсестра Лора Андреевна Кустарникова, поставив на пол свой чемоданчик – аптечку, прикуривала длинную сигарету Данхилл от красивой импортной зажигалки. Она знала, что до обязательного, точно спланированного современной медициной, паралича сердца полковнику – чекисту Прохоренко осталось ровно пятьдесят метров коридора и два лестничных пролёта. Уже держась за сердце правой рукой, Прохоренко медленно шёл по направлению к своему отпуску. Медсестра долго смотрела ему вслед...

Рассказ второй: «Прикладная химия»

– Значит так, товарищи, – седой человек в дорогом импортном костюме и модных очках обвёл взглядом присутствующих, – или господа, как это сейчас принято? Ситуацию вам полностью обрисовал товарищ из Комитета.

– Не Комитета – эФэСБэ, – тихо поправили из угла.

– Не важно. Короче, ситуация нетерпимая, надо ее решать. Я разговаривал на самом верху, – он сделал небольшую паузу, – там очень недовольны. Вы понимаете – карт-бланш нам не дадут: не те времена, но и особо придирааться тоже не будут. Вот так. А вообще-то, я не понимаю, – он повернулся к директору НИИ Прикладной Химии, – вы что, сами не в состоянии справиться с этим как его... Парнокопытным?

– Паперным, – тихо поправили из того же угла.

– Как? – горько спросил директор – низенький толстенький академик. – Из партии исключить? – так он в ней сроду не был, да и что она сейчас... Премии лишить? – ну, так не купит он себе лишних две бутылки пива – знаете, какие у нас сейчас премии... Выгнать с работы? – так представляете, какой шум поднимется? В Гринписе он свой, у местных «зеленых» тоже, а «Мемориал»? А Боннэр, у которой он каждую субботу пасётся? Выгоните, попробуете – через два дня сто пятьдесят западных газет, да и наших тоже, завопят, что репрессирован борец за окружающую среду, за демократию, за чёрта в ступе... Думаете, это увольнение не свяжут с его заявлением о продолжающихся в нашем НИИ работах по химоружию?

– Зелёные, – пробурчал в модных очках, – звезднополосатые, желтоблакитные... Хосподи! Докатались: несколько серьёзных организаций не могут заткнуть рот одному болтуну. Резюмирую: ситуация нетерпимая. Надо решать. И решать – вам. Ну а мы – если что помочь...

– Феликс Юрьич, – после отъезда седого обратился академик к эфэсбэшнику, – вы ведь говорили как-то, что у Паперного где-то там, в Дубне, кажется, пассия... Может, их сфотографировать в постельке...

– Господи! Ну что вы говорите? – отозвался тот, – Жены у него нет, кому мы эти фотки предъявим? Гринпису? Так это же не американский Конгресс. Им всё равно, с кем он трахается, лишь бы не с моржихой или там... Да и не любовница это, а первая любовь, ещё со школы. Они и не видятся, только переписываются, правда, очень пылко. Фотки – не то... Хотя... подумать об этом стоит.

Через две недели старший научный сотрудник НИИПРИХИМа Паперный стоял перед директором института.

– Прекрасно вас понимаю, милейший Михаил Давидович, – вкрадчиво, но тепло говорил академик. Конечно, поезжайте. О работе не беспокойтесь, здесь всё же не дети, да и план вы оставили подробный, видел, хвалю. Только вот одна мелочь. Чисто для проверяющих. Знаете, времена новые, но и старых инструкций никто не отменял. Два месяца за свой счёт, это, знаете... Лучше так: командировка по линии «Гринпис» с такого-то на неопределенное время. Вернётся – поставим дату. Вам всё равно, а отделу кадров спокойней.

Еще через два дня СНС НИИПРИХИМа Паперный сидел в кресле напротив главврача специализированной клиники неврозов им. профессора Хорвата в подмосковной Дубне.

– В общем, Михаил Давидович, ничего страшного. Но подержать ее здесь, полечить – поправился главврач – придётся. А теперь извините великодушно, я – на совещание. А вам всё очень подробно объяснит старшая медсестра отделения, кстати, очень опытная медсестра, рекомендую, – Хронина Нина Каллистратовна.

– Понимаете, Михаил Давидович, – говорила Хронина, – когда они прогуливались по саду перед главным зданием клиники, – она обратилась к нам в первый раз два года тому назад. Вы не знали. Естественно. Она вам об этом не писала. Нет, то, что у неё – конечно, не сума-

существование. Вы знаете, мы, медики, вообще не употребляем таких слов. Это, как минимум, не научно. Но здесь действительно ничего опасного. Нужно только время, терпение и – тут она проникновенно посмотрела в глаза Паперного – хоть немного любви и понимания... Дело в том, что отношения с вами, я знаю, что только письма, знаю... у нее стали чем-то вроде мании. Всё, что она писала вам про своего мужа... – нет у неё никакого мужа, и не было. Она просто... сначала боялась себя и своего чувства – отсюда выдумки про семью, а потом запуталась, испугалась, в общем, вы понимаете. У нас таких женских историй, знаете сколько? – Словом, Михаил Давидович, дорогой, мы её немножко подготовили, теперь всё зависит от вас... На сколько у вас отпуск? – и месяц, и два? Отлично. Будете приходить раз в два-три дня, гулять, беседовать, я уверена, это даст положительный результат. Всё. Идите. Я вам там не нужна. По этой дорожке до чугунных ворот, они открыты, потом всё время вперёд, там будут следующие, она там. Ждёт. Ну, ни пуха!

«Подумать, как все поворачивается, – думал Паперный, не забыв послать “к чёрту” милую Нину Каллистратовну, – бедная Лариса! Почему не написала, что одна? – я бы сразу... Сколько же это мы не виделись?»

– Всё в порядке – доложила главврачу Хронина и тихо вышла из кабинета. В коридоре она остановилась у окна и закурила длинную сигарету Данхилл, шёлкнув красивой импортной зажигалкой. По дорожке сада медленно, задумчиво шёл их новый пациент, бывший СНС НИИПРАХИМа Михаил Давидович Паперный. Он шёл по направлению к чугунным воротам, которые, этого он не знал, закроются за ним навсегда, а у вторых, несуществующих, его встретят два санитары, которые и решат за него все его бывшие и будущие проблемы. Михаил Давидович шёл медленно, потом вдруг ускорил шаги и быстро, решительно двинулся по длинной и прямой, как стрела, дорожке сада. Медсестра долго смотрела ему вслед...

Рассказ третий: «Ночное задание»

– А почему «медсестра-то»? Ты что, в медицинском училась? – сидящий в кресле бритоголовый «бык» с удовольствием разглядывал длинноногую, с роскошной грудью и прекрасной формы жопочкой красотку, наводившую макияж перед высоченным, в два человеческих роста, зеркалом.

– Какой там медицинский! В тюрьме кличку дали.

– Ты что, сидела? – в голосе «быка» проступило уважение.

– Да нет, – совершая какие-то действия кисточкой, отозвалась красотка, – только этого не хватало. Я тогда путанила в Европейской, ну, шеф и послал меня в Крестуху. К серьезным людям. У них там в камерах, вообще-то, всё было – кроме баб. Ну, меня и послали им помочь. Типа расслабиться и тэ-пэ. А мне что, работа есть работа. Там, конечно, бесплатно, но никогда не знаешь, что может пригодиться. А мужчины там действительно сидели серьезные. У них сам начальник корпуса, полковник, как мальчонка, шестерил. Так вот, там был один авторитет из Средней Азии, то ли узбек, то ли таджик, я в них не разбираюсь, в гостинице у меня только фирма, так он всем мужчинам говорил «брат», а женщинам – «сестра». И когда меня трахал, всё время говорил: «Ты как мэд, сестра. Ты как мэд, сестра». Вот они, остальные, и прозвали меня «мэдсестра». А оттуда на волю как-то передалось. Теперь уже все: «медсестра» да «медсестра». Так и пошло. Я привыкла.

– А спидович где приобрела? – поинтересовался второй, помельче и прыщавый, но тоже бритоголовый.

– Да уж не за партой, понятно, – ответила красотка, отойдя, наконец, от зеркала. И ведь никогда же не шла с азиатами, только с фирмой, а тут купилась. Красавчик, весь в золоте, одна булавка с брюликом чего стоит, да и подружки с опытом говорили: не пренебрегай арабами, у них миллионеров – каждый второй. По нефти. Вот и приобрела – на весь миллион.

– Кончили разговоры. К делу, – появившийся без стука молодой человек с дипломатом внимательно посмотрел на девушку. – Лариса, готова? Пошли, – уже вдвоём, без охраны, они подошли к маленькому смотровому окну, через которое был отлично виден отдельный кабинет ресторана ***. – Вот этот, в сером пиджаке и в очках. Посмотри хорошенько, не перепутай. А перепутаешь – поправим, – он хищно усмехнулся. – Считай, что тебе повезло: парень красивый, да и в постели, говорят, гигант – бабы от него без ума. Так что работа у тебя будет приятная. Вот ключ от номера на втором этаже – там всё: прикид, драгоценности, сумочка, туфли, всё, что надо, в лучшем качестве, без подделки. В сумочке штука баксов – твоя. Еще колечко с бриллиантом. Значит так: твоя работа – две ночи. Это, чтобы с гарантией. И гуляй. Но две ночи надо работать хорошо. Через час жду тебя здесь. Знакомство и прочее – дело наше. Всё.

Утром следующего дня Лариса лежала на шикарной, громадной, как лётное поле, кровати, отдыхая от только что отбушевавшей любви, и удовлетворенно мурлыкала под восхищенным взглядом любовника.

– И откуда ты такая взялась? – в который раз говорил он. – Где я только ни был, чего только ни видал – и Бразилию, и Таиланд, в швейцарской Давосе был на симпозиуме, там элита со всего мира, а самое прекрасное, – его руки опять потянулись к её груди, – оказалось здесь, в своём городе. Под боком.

– Лара! – продолжил он, оторвавшись от ее губ. – У меня сейчас дел буквально на два-три дня. Потом – поедем... куда ты захочешь: Канары, Багамы, Амазонка, Ниагара – на неделю, вдвоём, Лариса, а?

– Ми-и-луй, милый мой, – говорила, она, перебирая пальцами его волосы, – какая неделя? – ты же знаешь, я замужем, через два дня муж приезжает, всё, что я могу – это остаться с тобой – боже, как я этого хочу – ещё на одну ночь. Еще на одну неземную, волшебную ночь. Поэтому распорядись сделать нам кофе, пей, одевайся – и поскорее возвращайся. Я буду тебя ждать здесь. Слышишь: я бу-ду тебя жда-а-ать.

– Жалко? – спросила себя Лариса, когда дверь спальни закрылась за мужчиной. – Жалко, жалко, жалко, да нет, не жалко. Все они дерьмо, и этот такой же – ласковый.

Она стояла у большого, «венерианского» окна, украшавшего шикарный трёхэтажный особняк, расположенный посреди огромного, обнесённого сплошной оградой, участка. Выйдя из дверей, Марат Дмитриевич Панов – так со временем будет высечено на могильной плите – подошёл к своему, уже выведенному телохранителем из гаража, Мерседесу и, послав воздушный поцелуй окну спальни, сел рядом с водителем. «Мерс» легко взял с места и тихо пошёл по направлению к уже начавшим открываться воротам.

Держа у распухших, нацелованных за ночь губ длинную сигарету Данхилл, только что прикуренную от красивой импортной зажигалки, «Медсестра» долго смотрела ему вслед...

6 августа 1998

Техника письма

Где-то в середине или даже ближе к концу 70-х ко мне в руки попал журнал «Аполлон», изданный в Париже незадолго перед тем эмигрировавшим Михаилом Шемякиным. Из всего журнала – особо полистать не случилось времени – запомнились мне стихи приятеля моего Вити Ширали, особенно первое, начинавшееся оптимистической строчкой «Ни х*я себе зима!» и ещё одна, тоже поэтическая, публикация: стихотворение также незадолго до того эмигрировавшего (и также, к слову сказать, художника, только уже москвича – бывшего, конечно, бывшего) – Вагрича Бахчаняна.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.